

В.В. АРСЛАНОВ

“Инклюзивные институты” – основной фактор устойчивого роста?

Статья 2

В статье (Статья 1 опубликована в “ОНС”. 2016. № 4) на основе сравнительно-исторического анализа рассматриваются основные положения теории экономического развития Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона, подвергаются разбору их критика географического детерминизма и тезис о решающей роли институтов в экономическом развитии. При этом отмечаются погрешности в интерпретации исторических событий, приводимых авторами для подтверждения положительного влияния инклюзивных институтов на экономический рост, и игнорирование фактов, противоречащих данной концепции. Показано, что, противопоставляя страны с инклюзивными институтами странам с экстрактивными институтами и настаивая на приоритете институтов в экономическом развитии, Аджемоглу и Робинсон создают упрощенное представление о развитии институтов и недостаточно учитывают иные факторы роста.

Ключевые слова: инклюзивные институты, экстрактивные институты, глобальное неравенство, дрейф институтов, поворотные моменты, политическая централизация, плюрализм, устойчивый рост, созидательное разрушение, географический детерминизм, колониализм.

“Поворот фортуны”

Аджемоглу и Робинсон¹ так часто объясняют неспособность государств выйти на путь устойчивого инновационного роста, эталонами которого для них служат Великобритания и США, господством экстрактивных институтов, что у читателя может возникнуть впечатление, будто за научной монографией скрывается апология демократии англоамериканского образца. Однако это не совсем так. Если бедность и техническую отсталость таких стран, как Гватемала или Зимбабве, можно объяснить тяжелым наследием длительного господства экстрактивных режимов, то как понять причины кризиса государств с солидной историей инклюзивных институтов, таких, например, как Древний Рим? Почему демократические греческие города-государства были покорены Римом, а Венецианская республика уступила в борьбе за доминирование на Средиземном море государствам с экстрактивными институтами? Аджемоглу и Робинсон признают, что и при инклюзивных институтах процветание не гарантировано. Впрочем, они делают оговорку, что государства с инклюзивными в полном смысле слова институтами появляются только в XVII в.

¹ Напомню, что в статье 1, так же как в статье 2, написание фамилии Acemoglu дается в ее турецком варианте (по происхождению этого ученого), в связи с тем, что именно такое написание дано в русском переводе книги “Почему одни страны богатые, а другие бедные”. Обычно фамилия ученого пишется как Асемоглу.

Арсланов Василий Викторович – dr. phil., младший научный сотрудник Центра методологических и историко-экономических исследований Института экономики РАН. Адрес: Нахимовский просп., д. 32, Москва, 117218. E-mail: arslanov@gmail.com.

В книге Аджемоглу и Робинсона можно выделить два базовых утверждения: 1) основная причина экономического успеха народов состоит в наличии инклюзивных институтов (монокаузальность); 2) основные изменения в политической структуре государства определяются внутренними процессами (эндогенность). Авторы подробно останавливаются на проблеме экономического регресса в государствах с инклюзивными институтами в главе “Дистанция увеличивается” (“*Drifting apart*”, рус. перевод: “Отдаляясь друг от друга”), которая посвящена эволюции институтов преимущественно европейских стран. В главе детально рассматриваются два примера такой ситуации, которую авторы обозначают, как “поворот фортуны” (“*reversal of fortune*”), имея в виду негативные изменения в структуре экономического роста: Древний Рим и Венеция. Примеров из более близкого прошлого (например, трансформация демократической Италии в фашистскую диктатуру в XX в.) авторы не приводят². Что касается Рима, то они связывают начало его экономического упадка с переходом от республики к принципату, то есть системе, основанной на экстрактивных институтах.

Здесь трудно удержаться от недоумения: большая часть успехов Рима связана с эпохой империи, которая существовала более четырех веков, причем, как показали многочисленные исследования, период поздней античности никак нельзя считать эпохой упадка. Более того, некоторые историки считают фикцией так называемый упадок Рима, то есть деградацию институтов, якобы вызванную внутренними конфликтами и процессами разложения. Аджемоглу и Робинсон ни словом не комментируют эту точку зрения, принимая нарратив о медленном угасании Рима, начиная с правления императора Августа, за данность. Между тем сами авторы приводят факт, свидетельствующий, что в период перехода к принципату Рим находился в зените экономического могущества: используя количество обнаруженных археологами кораблей в качестве показателя экономического роста в конкретный период, они отмечают, что максимальное количество затонувших кораблей приходится примерно на время рождения Христа [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 102]. Получается, что экономический прогресс несколько не помешал замене инклюзивных институтов экстрактивными. Аджемоглу и Робинсон никак не объясняют этот парадокс, заменяя выявление природы столь важной для темы их книги проблемы перерождения демократии в диктатуру скупым изложением хорошо известных фактов о закате республики и приходе к власти Цезаря. Однако описание процесса в экономической науке не равно его объяснению.

Утверждение, что переход к “более экстрактивным” институтам был следствием перехода от республики к принципату, которое любому историку античности покажется недопустимым упрощением (так, первые императоры утверждались римскими легионами – институтом, возникшим в республиканский период), при внимательном рассмотрении вытекает из смешения следствия и причины. Через несколько страниц сами авторы описывают процесс быстрого расслоения в римском обществе республиканского периода, вызванный завоеванием римской армией различных государств. Большая часть приобретенных насильственным путем богатств концентрировалась узкой группой лиц (сенаторов), а семья солдат постепенно беднела. В результате изменился и политический баланс в стране, а бенефициары римской экспансии любой ценой (вплоть до убийства оппонентов) стремились защитить свой социальный статус. Аджемоглу и Робинсон отмечают, что из-за концентрации власти в руках меньшинства менее надежными стали и права собственности – один из фундаментальных инклюзивных институтов [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 168]. Иными словами, хорошие институты не смогли защитить Рим от перехода к диктатуре. В итоге общество, изначально обладавшее сильными инклюзивными институтами, обеспечившими впечатляющий экономический рост, деградировало до уровня типичного государства, основанного на экстрактивных институтах, и в конечном итоге повторило судьбу цивилизации майя [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 158].

² В статье [Acemoglu, Johnson, Robinson 2000] утверждается, что после 1500 г. серьезных поворотов фортуны в европейских странах не было.

Как и при рассмотрении проблемы восприимчивости государств к инновациям, рассказывая о причинах “реверсивного развития” в истории Древнего Рима, Аджемоглу и Робинсон не уделяют должного внимания фактам, не вписывающимся в формулу “инклюзивные институты → процветание”, даже если такие факты и появляются на страницах их книги. Причина, по-видимому, состоит в допущении приоритета эндогенных факторов развития над экзогенными, которое, кстати, свойственно и марксистской теории экономического развития, с тем существенным отличием, что в последней иерархия экономики и политики по сравнению с концепцией Аджемоглу и Робинсона перевернута. Если бы авторы включили приведенное выше описание социального расслоения в их интерпретацию перехода от республики к империи, им пришлось бы переосмыслить или, во всяком случае, смягчить формулу, выражающую универсальность примата политической трансформации над экономической. Так, уже современник Нерона поэт Лукан, размышляя о причинах диктатуры Цезаря, связывал предшествовавшие ей упадок институтов народного представительства и всеобъемлющую коррупцию со стремительным ростом богатства Рима вследствие эксплуатации завоеванных им стран: “Ибо, когда принесло военное счастье чрезмерный / Дар покоренных племен, – от богатства испортились нравы / И ограбленье врагов, их достаток – посеяли роскошь... Быстро рождается гнев; на злодеявства – нужды порожденье – / Смотрят легко; а мечом захватывать в свои руки отчизну – / Это великая честь; и ставят мерою права / Силу; в неволе закон и решенья народных собраний, / Консулы права не чтут и его попирают трибуны; / Ликторов связки отсель покупные, народ, продающий / Милость свою за металл, и торг для Рима смертельный – / Торг должностями в борьбе ежегодной на Марсовом Поле; / Хищный отсюда процент, беспощадные сроки уплаты, – / И поколеблен кредит, и война стала выгодна многим” [Лукан 1993, с. 11–12].

В максимально сжатом виде альтернативное объяснение упадка Рима, которое также можно построить на основе приводимых Аджемоглу и Робинсоном фактах, можно передать так: “Рим стал бедным, потому что стал слишком богатым”. К сожалению, парадокс негативного влияния богатства на политические институты в богатых странах не занимает должного места в книге Аджемоглу и Робинсона. Между тем правомерен вопрос о параллелях развитию Рима в западных государствах Нового времени. Причем интересно не столько набившее оскомину сравнение современных США с Римом “периода упадка” (как отмечалось выше, соответствие этого термина исторической реальности весьма сомнительно), сколько с Испанской и Британской империями. Аджемоглу и Робинсон уделили много внимания как в данной книге, так и в других своих публикациях негативному воздействию европейской колонизации на развитие институтов в покоренных странах [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 273]; пример с Римом республиканского периода, однако, дает повод задуматься об “эффекте бумеранга” в развитии государств-колонизаторов.

В качестве доказательства такого эффекта можно рассмотреть европейскую страну, которая, будучи классическим государством с инклюзивными институтами, не участвовала в колониальной экспансии, – Швецию. Пережив политическую трансформацию от феодального к буржуазно-демократическому государству, Швеция неудачно пыталась участвовать в колониальной экспансии, но вскоре отдала свои незначительные заморские территории Англии и Нидерландам. Однако то, что в XVIII–XIX вв. могло расцениваться как слабость, в XX и XXI вв. оказалось очевидным преимуществом: Швеция не переживала, как другие империи, крайне болезненное переустройство экономики в процессе деколонизации и смогла избежать сильного социального расслоения, до сих пор характерного для Великобритании и Испании. Вместе с тем Швеция смогла вовремя провести индустриализацию и, благодаря последовательно проводимой с начала XIX в. политике нейтралитета, избежать милитаризации экономики и колоссальных потрясений, которые испытали европейские сверхдержавы в двух мировых войнах. Если оценивать исторические развитие, основываясь на текущих показателях, то следует признать, что “шведский путь” оказался успешнее английского и по политическим,

и по социально-экономическим результатам³. Разумеется, нельзя объяснить различия в социоэкономической динамике этих стран только участием в колониальной экспансии, однако данное сравнение демонстрирует значение негативных эффектов от колонизации как экзогенного фактора развития метрополии, который никак не учитывается Аджемоглу и Робинсоном.

Более интересно описание в книге “Why nations fail” заката Венецианской республики. Во-первых, авторы прямо говорят о Венеции как о стране с инклюзивными институтами, упустившей исторический шанс на устойчивый экономический рост. Действительно, на условной шкале “инклюзивности” средневековая Венеция должна выглядеть существенно лучше, чем древнеримская республика, поскольку в Венеции не было рабовладения – одного из основных экстрактивных институтов (рабовладельческие хозяйства, например, сахарные плантации, были только в венецианских колониях). Более того, авторы находят в экономической истории средневековой Венеции признаки созидательного разрушения и отмечают, что на определенном этапе развития оформление полностью инклюзивных институтов в этом государстве казалось делом времени [*Acemoglu, Robinson 2012^a*, p. 273]. Во-вторых, авторы датируют начало упадка Венеции концом XIII в. и связывают его с постепенным закреплением высших должностей за знатными семьями.

По-видимому, Аджемоглу и Робинсона не смущает, что на протяжении нескольких столетий после XIII в. “La Serenissima” господствовала в Восточном Средиземноморье и на Черном море и была наравне с Генуей единственным итальянским государством, сохранившим независимость до вторжения Наполеона, несмотря на могущество таких держав, как Испания, Австрия и Франция, подчинивших практически все прочие итальянские территории. При этом в качестве индикатора экономического прогресса американские экономисты используют демографические данные и утверждают, что к 1500 г. население города, составлявшее в 1330 г. 110 тысяч человек, сократилось до 100 тысяч и никогда больше эту цифру не превосходило. Это неверно: только с 1509 по 1563 г. население Венеции выросло почти на 50%, со 115 до 168 тысяч, причем положительная динамика сохранялась и далее [*Sella 1994*, p. 652].

Наконец, из исторического обзора, представленного Аджемоглу и Робинсоном, неясно, почему они придают такое значение институциональным изменениям XIII–XIV вв. Поскольку Венеция и до усиления олигархии не была образцовой демократией, так как ее институты были лишь частично инклюзивными, то получается, что старую олигархическую систему в XIV в. сменила новая. При этом авторы книги не могут утверждать, что после XIV в. венецианские институты стали полностью экстрактивными, поскольку права собственности и многие другие права, которые были у граждан до “начала упадка”, никуда не исчезли. Следовательно, тот же фактор, который, по мнению авторов, определяет деградацию экономической системы, присутствует и в период ее подъема.

Как и в ряде других случаев, в разделе, посвященном Венеции, Аджемоглу и Робинсон представляют свою версию истории как единственно возможную, даже не обсуждая довольно влиятельную гипотезу о спаде могущества Венецианской республики вследствие усиления Османской империи, блокировавшей прямой доступ к ближневосточным торговым путям, и открытия европейцами морского пути в Индию. Опять-таки включение этой гипотезы в рассуждения о “повороте фортуны” Венецианской республики потребовало бы скорректировать тезис о примате эндогенных факторов развития над экзогенными, а также учесть роль географии. Никто не может сказать, что в конце XV в. венецианские или генуэзские мореплаватели были менее искусными или менее инициативными, чем голландцы и англичане. Достаточно вспомнить, что Колумб и Кабот были итальянцами. Но в силу особенностей географического положения – и, вероятно,

³ В списке стран по ВВП на душу населения по паритету покупательной способности Швеция на несколько мест опережает Великобританию и Испанию (данные Всемирного Банка за 2014 г., http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?order=wbapi_data_value_2014+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=desc).

в этом случае допустимо более сильное утверждение: и только их! – итальянские города-государства не смогли участвовать в атлантической экспансии и уступили лидерство в торговле с Востоком западноевропейским державам.

Вспомним объяснение отставания Китая от Европы, предложенное Аджемоглу и Робинсоном: деспотизм, экстрактивные институты и подавление частных инициатив, ведущих к дестабилизации политической власти. Из рассуждений американских экономистов следует, что Венеция по тем же причинам уступила Англии. Но как можно обнаружить нечто подобное запрету на морские экспедиции в Венеции, вся экономика которой была основана на развитии старых и поиске новых торговых связей, в частности уже в XIII в., с тем же Китаем? Излагая судьбу Венеции и ее путь “от экономического гиганта до музея”, Аджемоглу и Робинсон пытаются найти объяснение тому, чего, вероятно, не было (экономическому спаду, начиная с XIV в.), и не замечают того, что, несомненно, было (смещение основных торговых путей в обход Восточного Средиземноморья).

“Дрейф институтов”

Мы не знаем, как звали китайских изобретателей печатного станка и компаса, но, вероятно, каждый школьник слышал фамилии Гутенберг и Уатт. С чем это связано? Ответ можно найти в письме Дж. Уатта к отцу, которое цитируют Аджемоглу и Робинсон. Уатт делится с отцом радостной новостью: после долгих прений английский парламент даровал ему и его представителям право на исключительное распространение в Великобритании и ее колониях паровых машин, и он рассчитывает получить изрядную прибыль, поскольку “уже сейчас на них большой спрос” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 104]. Как предприниматель, Уатт вкладывал силы и средства в свое изобретение, потому что ожидал интереса со стороны других коммерсантов и надеялся на защиту государства от нечестных конкурентов. Платежеспособный спрос и защита авторских прав были важнейшими предпосылками Промышленного переворота. Очевидно, что в стране, где эти условия отсутствовали, например в Китае, у Уатта не было шансов разбогатеть на своих машинах. Также очевидно, что по этой причине Промышленный переворот в Англии не был случайностью [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 103]. Не очевидно, однако, почему данные условия сложились именно в Англии. Было становление инклюзивных институтов в этой стране случайностью или закономерностью?

На этот вопрос Аджемоглу и Робинсон дают два ответа: и да, и нет. Ответ “да” связывает “уникальные”, по определению авторов, политические институты Великобритании накануне промышленного переворота со Славной революцией 1688 г., ограничившей абсолютную власть монарха и элиты и передавшей в компетенцию избираемого гражданами органа (парламента) принятие ключевых политических решений. По мнению Аджемоглу и Робинсона, Славная революция была основой “формирования плюралистического общества и... создала первый в истории комплекс инклюзивных политических институтов” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 102] ср. [Аджемоглу, Робинсон 2015, с. 142]. Так как это случилось в Англии, логично, что и экономический подъем, невозможный без таких институтов, произошел именно здесь, а не в каком-либо ином государстве. Ответ “нет” можно разделить на две части: 1) путь к Славной революции был не линейным, а полным случайных событий и “небольших изменений” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 110]; 2) система, установленная в результате Славной революции, вполне могла измениться, если бы в XVIII в. победили сторонники династии Стюартов или же в результате иных труднопредсказуемых событий [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 310]. Характерно, что раздел книги о предпосылках Промышленного переворота называется “Случайный путь истории”.

На эту проблему обращает внимание в своей рецензии Дж. Даймонд. Он замечает, что хотя авторы открыто об этом не говорят, из их концепции следует: “хорошие институты” возникают случайно, в зависимости от непрогнозируемых решений отдельных личностей [Diamond 2012]. В своем ответе на рецензию Даймонда Аджемоглу

и Робинсон оспаривают этот вывод и подчеркивают, что “разнообразие институтов в современном мире во многом является системным следствием исторических процессов, которые... объясняют, почему Европа, Соединенные Штаты и Австралия богаче Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки” [Acemoglu, Robinson 2012^b].

Попробуем разобраться, обоснован ли вывод Даймонда.

К числу исторических процессов, объясняющих, по словам авторов, их концепцию, относится развитие трансатлантической торговли в XV–XVIII вв. Как известно, Англия не сразу в нее включилась. На пути в Америку у английских мореплавателей XVI в. был могущественный конкурент – Испания. Как же случилось, что через сто лет лидерство в Атлантике перешло к англичанам? Волей случая, отвечают рационалисты Аджемоглу и Робинсон (английские протестанты сказали бы “волей Провидения”): посланная Филиппом II для завоевания Англии и установления монополии в Атлантическом океане армада из-за непогоды и ошибок командования потеряла большинство судов и не справилась с поставленной задачей, и англичане почувствовали, что ветер Атлантики подул в их паруса. Аджемоглу и Робинсон считают, что значение этой “неожиданной победы” нельзя переоценить: без нее не было бы политической трансформации, создавшей плюралистические инклюзивные институты, а следовательно, и промышленного переворота. Можно усилить тезис авторов: и всего современного Запада не было бы без поражения испанской армады.

Какова точка зрения Даймонда на этот вопрос? Не подвергая сомнению значение “хороших институтов”, таких, например, как защита прав собственности и контрактного права для экономического развития в принципе, Даймонд полагает, что авторы книги не объясняют, почему во многих странах такие институты не могли появиться. Нет ничего удивительного, что современные западноевропейские страны, в которых такие институты насчитывают долгую историю, богаче тропических африканских стран. По мнению Даймонда, самый важный фактор, влияющий на формирование “хороших институтов”, – существование государства. Без государства возникновение институтов, стимулирующих экономическое развитие, невозможно. Более того, институты могут появиться, только если государство в данной стране существует *достаточно продолжительный период*. Навивно полагать, что установление централизованных политических структур, как волшебная палочка, в один миг изменит уклад жизни и образ мышления людей, привыкших к племенным или иным архаичным формам политической организации. Различие в длительности существования государства в разных странах существенно влияет на вероятность появления в них институтов, способствующих устойчивому экономическому росту [Diamond 2012]. Даймонд иллюстрирует свой тезис сравнением Ганы и Южной Кореи: полвека назад эти страны были примерно одинаково бедными, но Южная Корея смогла вырваться вперед прежде всего потому, что история централизованного государства в ней намного дольше, чем в Гане.

Впрочем, Аджемоглу и Робинсон также признают необходимость государства для появления институтов – как инклюзивных, так и экстрактивных [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 75]. Однако они не указывают, каким должен быть временной зазор между возникновением государства и появлением институтов. По-видимому, это связано со скептическим отношением авторов книги к географическому и культурному детерминизму, что приводит к сомнению в возможности логичного объяснения появления государства. Так, размышляя над вопросом, почему реформа централизации получилась у африканского народа бушонг, а не у их соседей леле (оба проживают на территории Конго), авторы считают наиболее вероятным объяснением упомянутую “случайную природу истории”⁴.

Однако признание ограниченности знаний о прошлом и вера в случайность эпохальных событий – плохая реклама для книги по экономике развития, рассчитанной на интерес широкой публики. Поэтому сделанные мимоходом замечания о непредсказуемости

⁴ С точки зрения Аджемоглу и Робинсона, в истории нет предопределенности и немалую роль играет “удача” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 364, 427].

истории не мешают Аджемоглу и Робинсону настаивать на верности собственной концепции, которая должна объяснить, почему Промышленный переворот произошел именно в Англии. Богатство этой страны, полагают авторы, стало результатом продолжительного “дрейфа институтов” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 209]. По аналогии с “дрейфом генов” (термин из молекулярной биологии, обозначающий процесс случайной вариации генов в популяции) данное понятие обобщает долгосрочные тенденции, ведущие к образованию характерных для той или иной страны институтов. В истории, как и в эволюции организмов, невозможно предсказать, как и когда происходят сдвиги, меняющие вектор развития институтов, но “предыстория”, то есть те или иные предшествующие события, делает определенный исход более или менее вероятным.

Так, по мнению авторов книги, страшная эпидемия чумы, разразившаяся в XIV в., положила начало водоразделу между Западной и Восточной Европой: если в Западной Европе после чумы начался процесс разложения феодализма, то в Восточной Европе, напротив, возникли предпосылки “второго издания крепостного права”. С одной стороны, такие разные эффекты эпидемии в ретроспективе кажутся естественными, поскольку в Западной Европе в отличие от Восточной у крестьян еще до вспышки чумы было больше автономии, и после резкого демографического спада эта автономия усилилась. С другой стороны, чума, как любое стихийное бедствие, не зависит от воли и действий людей и является случайным по отношению к общественному развитию событием. Такие “полуслучайные” события происходили не раз в истории Европы и наложили отпечаток на институциональный контур отдельных стран континента.

В версии Аджемоглу и Робинсона континуитет европейской истории выглядит как последовательность переломных моментов (“*critical junctures*”), каждый из которых способствует все большему усилению инклюзивных институтов или их предшественников. Сам феодализм также стал результатом взаимодействия непрогнозируемых и исторически обусловленных процессов. Аджемоглу и Робинсон вводят начало феодализма с распада Римской империи и возникновения варварских государств. Хотя экономисты и подчеркивают, что нельзя проводить прямую связь между древнеримскими институтами и политической системой Англии накануне Промышленного переворота, они ясно дают понять, что без Римской империи современной экономики могло бы и не быть [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 158].

Традиция парламентаризма, одна из предпосылок появления в Англии инклюзивных институтов, включает элементы римского права. Признавая влияние римских политических институтов на историю европейских стран, Аджемоглу и Робинсон не рассматривают географические особенности, способствовавшие положительной обратной связи в экономическом развитии Европы после распада Римской империи: наличие водных (Средиземное море) и сухопутных (Альпы, Балканы и Пиренеи) барьеров не сдерживало, а напротив, стимулировало развитие отдельных регионов Западной и Центральной Европы, которые, как верно замечает Даймонд, постоянно были в тесном контакте, но никогда после распада Римской империи не находились под полным контролем одной державы⁵. Пресловутая раздробленность Италии XIII–XVI вв., в которой Н. Маккиавелли видел причину слабости своей родины, во многом определила расцвет науки и искусства эпохи Возрождения, а раздробленность или, вернее, самостоятельность европейских государств Раннего нового времени имела ключевое значение для успеха европейской колониальной экспансии. Если каждое из таких событий, как становление и распад Римской империи, возникновение феодализма, чума и ее последствия, в той или иной степени повлияло на траекторию европейского пути развития, то начало Промышленного переворота в европейской стране оказывается более вероятным,

⁵ “Географические барьеры в Европе были достаточно серьезными, чтобы помешать политическому объединению, но достаточно преодолимыми, чтобы не мешать распространению идей и технологий. В отличие от Китая история Европы не знала деспотов, способных единым решением прервать развитие какой-то отрасли технологии на всей ее территории” [Даймонд 2010^a, с. 624]. Аналогичного взгляда на причины лидерства Запада придерживается Д. Лэндес, который подчеркивает значение военной конкуренции между европейскими державами и постоянного потока эмигрантов между ними [Landes 1998].

чем в азиатской, африканской или американской. Таким образом, траектория западно-европейского развития, начиная с XIV в., не вела непосредственно к Промышленному перевороту, но готовила благоприятные условия и делала его в Европе более вероятным, чем где бы то ни было еще.

На роль географического фактора косвенно указывают и сами Аджемоглу и Робинсон, развивая тезис о “расхождении” между Западной Европой и Восточной. Несмотря на то, что у них отвергается теория Даймонда как “бесполезная” для объяснения истоков процветания отдельных государств [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 54], они также отмечают своеобразие исторического развития европейских стран после распада Римской империи и положительный “эффeкт колеи” – не только отсутствие центра силы, контролирующего весь континент, но и последовательное развитие институтов народного представительства [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 180]. Дело не сводится к физической географии⁶; на экономическое развитие влияет и культурная география – происходившие на протяжении веков изменения в населявших данный регион обществах.

Как и физическая среда, культурный ландшафт в значительной мере влияет на вероятность того или иного события. Так, в XVIII в. у англичанина, родившегося вдали от моря, было больше шансов стать участником морской экспедиции, чем у его китайского современника, появившегося на свет в приморском городе. Если учесть, что такие институты, как патент, формируются на протяжении веков и тысячелетий и их “предыстория” насчитывает ряд промежуточных форм защиты прав собственности, то вероятность возникновения патентного права в стране с более длительной историей прав собственности выше, чем в любой другой стране, с первой культурно не связанной. Таким образом, понятие “дрейф институтов”, то есть взаимодействие случайных событий и локальных особенностей политической организации, отражает постепенное обособление регионов, вследствие которого определенная траектория развития более вероятна в данном конкретном регионе.

“Дрейф институтов”, как его описывают Аджемоглу и Робинсон, создает впечатление, что только от внутренней логики развития стран зависит, добьются они успеха в модернизации или нет. С точки зрения данных авторов, внешние по отношению к политике факторы, к которым они относят культуру и географию, не могут объяснить причины богатства и бедности государств. Альтернативную концепцию трансконтинентальной диффузии знаний и технологий авторы отвергают, используя весьма странный аргумент: отсталость африканских народов обусловлена не географическими барьерами между Тропической Африкой и Евразией, а иными причинами, поскольку на момент первых контактов африканцев с португальцами, у которых африканцы могли бы перенять ценные знания, разница в доходах африканских и европейских стран была меньше, чем сейчас⁷. Следует также отметить, что приводимое Аджемоглу и Робинсоном в качестве опровержения географического детерминизма объяснение отсталости Перу от Испании неубедительно, поскольку полностью игнорирует колониальный период в истории Южной Америки. Критикуя тезис Даймонда о значении более долгой по сравнению с Америкой истории земледелия в Евразии, они считают, будто отсюда следует, что “как только новые виды растений и технологии попали к инкам, они должны были быстро сравняться с испанцами по уровню благосостояния” [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 52].

Искажение тезиса Даймонда налицо: согласно его концепции, такой сценарий был бы возможен, если бы империя инков сохранила независимость. Более того, одно из

⁶ Так, по мнению Даймонда, смещение центра экономического развития с Ближнего Востока в Западную Европу было обусловлено, процессом эрозии почвы и заливания речных долин, вызванного человеческой деятельностью. Растительный покров в этом регионе исчез за нескольких тысячелетий интенсивного сельского хозяйства и из-за низкого по сравнению с Северной Европой годового количества осадков не смог восстановиться [Даймонд 2010^a, с. 616].

⁷ См. [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 53]). Отмечу, что авторы не упоминают общепризнанный в современной науке факт: колониальная эксплуатация Африки была одной из причин обогащения европейцев [Beckert 2014].

преимуществ Европы состояло в том, что культурный обмен в ней сочетался с конкуренцией между независимыми областями и странами [Даймонд 2010^а, с. 443]. Очевидно, что культурная диффузия, то есть трансфер знаний, идей и технологий между странами, и завоевание государства для эксплуатации его ресурсов и населения – принципиально разные явления. Но Аджемоглу и Робинсон интерпретируют тезис Даймонда так, будто это различие не имеет значения. Однако на примере Японии видно, что если технологии попадают в отсталую страну, сохранившую при этом независимость, у нее есть неплохие шансы наверстать упущенное и преодолеть отставание от передовых государств. Империя инков представляет собой прямо противоположный случай, о чем сами Аджемоглу и Робинсон, между прочим, говорят в другой главе: как здесь справедливо замечено, изначальная причина успеха Северной Америки и Австралии состояла в том, что там в отличие от Южной Америки европейцы не образовали экстрактивные институты для добычи полезных ископаемых и не эксплуатировали коренное население [Acemoglu, Robinson 2012^а, р. 299].

Более того, анализируя пагубное влияние британских колонизаторов на развитие африканских и азиатских стран, в частности Индии, Аджемоглу и Робинсон приходят к выводу, что экономическое развитие одних стран может быть тормозом развития других и даже стимулировать усиление в них экстрактивных институтов. Странно, что они недооценивают значение такого рода факторов для развития южноамериканских государств. Ведь именно принесенные европейцами или перенятые ими у прежних американских правителей репрессивные институты стали, вероятно, главным препятствием для последовательного развития инклюзивных институтов в Южной Америке, что, естественно, сказалось на социально-экономических показателях стран континента.

Как сменить формат развития?

Если формирование инклюзивных институтов, по мнению Аджемоглу и Робинсона, обусловлено случайностями, то еще труднее предсказать, какая страна сможет вырваться из “порочного круга” экстрактивных институтов и, главное, удержаться на демократическом пути развития. Хотя сами авторы, как указывалось выше, считают, что важнейшее средство от олигархизации незрелой демократии – активность широкой коалиции представителей разных партий и слоев населения, примеры стран, которые приводятся в книге, заставляют усомниться в верности этого тезиса.

Рассмотрим два примера удачных и неудачных реформ, которые анализируют Аджемоглу и Робинсон. Это Япония и Аргентина. Авторы замечают, что данные страны представляют собой исключения из принятой в экономике классификации и приводят слова С. Кузнецца: “Есть четыре типа стран: развитые, неразвитые, Аргентина и Япония” [Acemoglu, Robinson 2012^а, р. 384]. В XIX в. обе страны не были в авангарде экономического развития, но за несколько десятилетий смогли сократить отставание от наиболее богатых европейских держав и США. Их дальнейшие перспективы были весьма хорошими. Однако через 100 лет ситуация изменилась: если Япония вышла в лидеры промышленного производства и стала символом страны-инноватора, то уровень благосостояния Аргентины упал, а страна несколько десятилетий подряд находилась в кризисе. Аджемоглу и Робинсон объясняют эти различия, исходя из противопоставления системы институтов в двух государствах. В Японии после Реставрации Мэйдзи 1868 г., по их мнению, сложилась устойчивая система инклюзивных институтов, тогда как Аргентина в тот же период скатилась к господству экстрактивных институтов. Иными словами, некогда авторитарной Японии удалось выйти из порочного круга, а Аргентине – нет. Однако авторы полностью игнорируют историю Японии до Реставрации Мэйдзи – факт, который бросается в глаза при сравнении с тем, как подробно они рассматривают историю Англии до Славной революции. Получается, что Япония просто более удачно перенесла на свою почву передовые европейские институты и технологии.

Почему то же самое не получилось у многих других режимов с экстрактивными институтами, остается неясным, между тем даже несколько слов о “предыстории”

японских реформ помогли бы объяснить их успех. Во-первых, Япония ни разу за последние несколько столетий не подвергалась завоеванию, в отличие, например, от Индии и Китая. Во-вторых, в Японии была очень высокая степень централизации и довольно высокая эффективность государственного аппарата, что показывает Даймонд на примере успешного регулирования лесных ресурсов в эпоху Токугава [*Даймонд* 2010^b, с. 411–421]. В-третьих, придерживаясь политики изоляции, Япония смогла избежать колонизации и массового импорта зарубежных товаров, которые подрывали ростки промышленности в индустриально неразвитых странах. Наконец, говоря об истории Японии в XX в., нельзя не учитывать противостояние капиталистической и коммунистической систем, которое после Второй мировой войны происходило буквально у границ Японии, и так как эта страна занимала ключевую позицию рядом с СССР, Китаем и Северной Кореей, Запад, в особенности США, приложил много усилий, чтобы сделать из нее форпост капиталистической системы. Достаточно упомянуть политические реформы и антимонопольное законодательство, которые были проведены американскими оккупационными властями. Без поддержки США быстрое экономическое восстановление послевоенной Японии было бы невозможно. Таким образом, пример Японии не вносит ясности в проблему трансформации экстрактивных институтов в инклюзивные.

Если при разборе японского опыта модернизации авторы обошли стороной ряд важнейших обстоятельств, то, рассуждая о проблемах Аргентины, они вообще исказили факты, охарактеризовав ее как государство с экстрактивными институтами. Превознося японские политические реформы, они не упоминают значительно более прогрессивный аргентинский закон о всеобщем избирательном праве 1912 г. (в Японии до 1947 г. большая часть населения из-за имущественного ценза не могла участвовать в выборах) и приходят к абсурдному в рамках их же концепции выводу, что, несмотря на демократию, аргентинские институты были далеко не инклюзивными. В действительности сравнительная история модернизации в азиатских и латиноамериканских странах может служить опровержением тезиса о значительной корреляции между инклюзивными институтами и продолжительным экономическим ростом. Попытки демократизации и активности широких масс в Аргентине не изменили тяжелую экономическую ситуацию.

Кроме Японии, можно также вспомнить и Китай, Южную Корею, Сингапур, а в Южной Америке – Чили. Правомерно утверждать, что в этих странах интенсивная индустриализация происходила и происходит не благодаря устойчивым инклюзивным институтам, а несмотря на их неразвитость или отсутствие. Напротив, в Аргентине, Бразилии и Уругвае довольно долгое существование демократических институтов не сопровождается продолжительным технологическим ростом и процветанием населения. Из этих примеров следует, что смена формата политического развития не во всех случаях ведет к смене вектора развития экономического.

* * *

Историю европейской экспансии, заложившей основы глобальной экономики и современного неравенства, можно резюмировать строками Евангелия: “кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет” (Мф. 13:12). И Даймонд, и его оппоненты – Аджемоглу и Робинсон – сходятся в том, что в эпоху Великих географических открытий европейцы приумножили имевшиеся у них преимущества перед жителями других континентов и смогли использовать добытые в ходе колонизации ресурсы для развития современной промышленности. К концу этой эпохи более богатые европейские народы стали еще более богатыми, а отставшие от них в техническом отношении и, соответственно, бедные народы – еще беднее. Однако Даймонд и его критики придерживаются разных взглядов на причины этих преимуществ. Если для Даймонда решающими козырями выступают ранний переход к земледелию и условия среды обитания, благоприятные для развития сельского хозяйства и культурных связей, то Аджемоглу и Робинсон убеждены, что важнейшим залогом успеха западных стран были политические институты. Читателю важно понять, исключают или дополняют друг друга такие позиции.

Согласно Даймонду, институты объясняют приблизительно половину различий в уровне богатства между странами мира, а другую половину можно объяснить влиянием географии. Что касается причинно-следственной связи, то, судя по рецензии Даймонда на книгу “Why nations fail”, он признает большое значение институтов для экономического успеха государств, но считает, что без благоприятной среды обитания институты, способствующие устойчивому экономическому росту, либо развивались бы очень медленно, либо не развились бы вовсе [Diamond 2012]. В книге “Ружья, микробы и сталь” ученый выражает эту точку зрения в более категоричной форме: “Государства, сегодня впервые обретающие статус влиятельных держав, по-прежнему представляют либо регионы, тысячи лет включенные в орбиту влияния первых аграрных центров, либо регионы, вновь заселенные выходцами из этих центров... Курс, взятый историей 8000 лет назад, по-прежнему диктует нам путь” [Даймонд 2010^a, с. 626]. Основным аргумент Аджемоглу и Робинсона против тезиса о приоритете географии состоит в том, что страны, которым экология не помешала достичь сравнительно высокого уровня развития, по прошествии определенного времени уступают странам с демократическими институтами не из-за изменения среды обитания, а из-за принципиальной невозможности поддерживать экономический рост без инклюзивных институтов. Однако, как мы показали на примере оценок авторами “Why nations fail” кризисов цивилизации майя, Римской империи и Венецианской республики, Аджемоглу и Робинсон вольно обращаются с фактами и просто не замечают альтернативные гипотезы, которые противоречат этому аргументу.

Из ответа Аджемоглу и Робинсона на рецензию Даймонда также следует, что они считают, что их институционалистская трактовка истории экономического развития скорее исключает, чем дополняет, “географическую гипотезу”: “Хотя временами география и экология болезней и влияла на процесс развития институтов... в современном мире эти факторы не играют основную роль в формировании разнообразия институтов” [Acemoglu, Robinson 2012^b]. Основным же фактором возникновения современных институтов авторы считают их “дрейф”. Однако, как показано выше, с точки зрения исторической науки – это мнимое объяснение, так как понятие “дрейф институтов” (термин, введенный авторами, чтобы избежать вывода о случайности появления институтов) идентично широко известному представлению о случайности исторического развития вследствие взаимодействия различных невычислимых факторов.

Тем не менее акцент на роли институтов, вероятно, довольно хорошо согласуется с фактами, относящимися к индустриальному этапу экономической истории. Возможно, в переходе государств к промышленному производству институты действительно представляют собой более важное условие развития, чем среда обитания. Во всяком случае, различия между западноевропейскими странами уже после начала колониальной экспансии трудно объяснить, апеллируя к географии как основному фактору. В этом отношении особое значение имеют долгосрочные результаты конфликтов между монархией и институтами представительства. Так, поражение сил, поддерживавших испанский парламент (кортесы) в борьбе с королем и дворянством, по-видимому, негативно повлияло на развитие класса купцов и предпринимателей, которые могли бы успешно противостоять английским и голландским конкурентам [Acemoglu, Robinson 2012^a, p. 221]. Институты, вероятно, играли большую роль в переходе эстафеты первенства в международной торговле от Испании и Португалии к Англии и Голландии, но меньшую – при переходе этой же эстафеты от Голландии к Англии.

Ограниченность географического детерминизма косвенно признает и сам Даймонд в приведенной выше цитате: отмечая, что успех государства зависит, в том числе, и от выходцев из более развитых регионов, он указывает на значение менталитета жителей, то есть на культуру, а культуру можно сознательно менять, например, с помощью государственной политики. Примеры изменения государством культурных установок по отношению к окружающей среде приводятся в книге “Коллапс”. Учитывая стремительный прогресс в сфере транспорта и в коммуникациях, можно предположить, что знания, навыки и культурные установки будут все быстрее проникать в менее развитые страны, снижая влияние особенностей окружающей среды. Но в отличие от Аджемоглу и Робинсона, автор “Коллапса” не

настаивает на монокаузальном подходе к объяснению судьбы всех человеческих обществ и допускает значительную роль иных факторов, кроме географии и экологии.

Подводя итоги, еще раз выделим наиболее уязвимые стороны книги “Why nations fail” и укажу на обоснованность критических замечаний Даймонда:

1) для обоснования своей концепции Аджемоглу и Робинсон используют примеры из истории и археологии, которые в большинстве случаев допускают иные объяснения, ставящие под сомнение или опровергающие основной постулат авторов;

2) в ряде случаев (например, при анализе изменения политического строя Древнего Рима) они смешивают причину и следствие;

3) Аджемоглу и Робинсон непоследовательны в оценке причин важнейших процессов социально-экономического развития (так, в разных главах их книги встречаются противоположные трактовки влияния европейской колониальной экспансии на политическое развитие колоний);

4) авторы произвольно и не всегда точно излагают факты и результаты исследований по анализируемым темам;

5) определенные центральные понятия книги – экстрактивные и инклюзивные институты – недостаточно четкие и приводят к размытым градациям (“сравнительно инклюзивные” институты) и логическим нестыковкам, которые подрывают противопоставление “устойчивого” и “неустойчивого” экономического роста, а следовательно, и концепцию в целом;

6) критикуя гипотезу Даймонда о влиянии окружающей среды на экономическое развитие, Аджемоглу и Робинсон искажают его тезис и опровергают то, что в действительности из сказанного этим ученым не следует;

7) они настаивают на приоритете эндогенных факторов развития, игнорируя влияние более очевидных, но не связанных с политическими институтами условий; критика их Даймондом в этом отношении справедлива;

8) авторы не обсуждают проблематичность применения категорий экономического анализа к племенным обществам и обществам с неразвитой политической централизацией; спорной ввиду ненадежности данных представляется попытка сравнить доходы инков и современных перуанцев; Даймонд также обращает внимание на принципиальные различия между тремя типами стран: страны с долгой историей государственности, страны с относительно короткой историей государственности и негосударственные организации людей;

9) в верности тезиса об устойчивом и продолжительном росте государств с инклюзивными институтами можно усомниться на основании кратковременности даже самого продолжительного “устойчивого” роста (в Великобритании) по сравнению с куда более продолжительным “неустойчивым” ростом таких государств с экстрактивными институтами, как Китай или Древний Египет. Более того, даже в условиях современной динамичной экономики высоких технологий, которая служит, пожалуй, наиболее сильным аргументом в пользу тезиса о значении демократии для процветания государства, арабские петрократии на протяжении десятилетий успешно сохраняют экстрактивные политические институты;

10) поскольку авторы признают значительную роль случайных обстоятельств, определяющих изменение вектора развития и тем самым вероятность появления инклюзивных институтов, их концепция оказывается нефальсифицируемой, что противоречит их же утверждению о ее универсальности; не ясно, насколько существенно действие инклюзивных политических институтов в обществе с экстрактивными экономическими институтами: согласно концепции Аджемоглу и Робинсона, они должны приводить к замене экстрактивных экономических институтов инклюзивными, но авторы допускают возможность их распада вследствие “перевеса” экстрактивных институтов; таким образом, критика Даймондом предложенного Аджемоглу и Робинсоном объяснения возникновения благоприятных для экономического развития институтов также справедлива.

Все сказанное, повторю еще раз, не означает, что политические институты не важны для процветания народов. Но аргументы американских экономистов слишком уязвимы, чтобы признать их концепцию убедительной. Абсолютизация роли институтов и размытость основных используемых понятий приводит к тому, что Аджемоглу и Робинсон не

учитывают общепринятые различия между древними и современными обществами, искажают альтернативные концепции и игнорируют факты, не укладывающиеся в их теорию. В итоге стремление доказать решающее значение одного фактора в судьбе всех человеческих обществ заставляет сомневаться в том, является ли этот фактор главным даже в современных обществах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015) Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты. М.: АСТ.

Даймонд Дж. (2010^b) Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают. М.: АСТ–Астрель: Полиграфиздат.

Даймонд Дж. (2010^a) Ружья, микробы и сталь: судьбы человеческих обществ. М.: АСТ МОСКВА: CORPUS.

Лукан Марк Анней (1993) Фарсалия. М.: Ладомир.

Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2000) The colonial origins of comparative development: an empirical investigation // National Bureau of Economic Research Working Papers. Working Paper No. 7771 (doi: 10.3386/w7771).

Acemoglu D., Robinson J. (2012^b) Letter to the Editors in response to: What makes countries rich or poor? // New York Review of Books, August 16, 2012 issue.

Acemoglu D., Robinson J. (2012^a) Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty. New York: Crown Business.

Beckert S. (2014) Empire of Cotton: a Global History. New York: Knopf.

Capoccia G., Keleman D.R. (2007) The study of critical junctures: theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism // World Politics. Vol. 59, is. 03, p. 341–369 (doi: 10.1017/S0043887100020852).

Diamond J. (2012) What makes countries rich or poor? // New York Review of Books, June 7, 2012 issue.

Landes D. (1998) Wealth and poverty of nations: why some are so rich and some are so poor. New York: W. W. Norton and Company.

Sella D. (1994) L'economia // Cozzi G., Prodi P. (eds) Storia di Venezia. VI. Dal Rinascimento al Barocco. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana. Pp. 651–711.

“Inclusive institutions” – the Key Factor of Sustainable Growth?

The article 2

Arslanov V.*

* *Arslanov Vasily* – dr. phil., a junior fellow at the Institute of Economics RAS. Address: 32, Nakhimovskiy av., 117218 Moscow, Russian Federation. E-mail: arslanov@gmail.com.

Abstract

The essay (the article 1 was published in issue 4) examines some of the key arguments of the influential theory of economic development proposed by D. Acemoglu and J. Robinson and contemplates on their critique of environmental determinism and assessment of the role of institutions in economy. The bias in their interpretation of various cases used to support the claim of a positive effect of inclusive institutions on economic growth, leading to a number of statements incompatible with current historical research is shown. We conclude that by setting countries with inclusive institutions apart from those with extractive institutions and positing inclusive institutions as the single major cause of growth Acemoglu and Robinson understate the complexity of institutional dynamics and the contribution of other factors to economic development.

Keywords: inclusive institutions, extractive institutions, global inequality, institutional drift, critical junctures, political centralization, pluralism, sustainable growth, creative destruction, geographic determinism, colonialism.

REFERENCES

- Acemoglu D., Robinson J. (2012^b) Letter to the Editors in response to: What makes countries rich or poor? // *New York Review of Books*, August 16, 2012 issue.
- Acemoglu D., Robinson J. (2015) *Pochemu odni strany bogatyye, a drugiye bedniye. Proiskhozhdeniye vlasti, protsvetaniya i nishety* [Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, and Poverty]. Moscow: AST.
- Acemoglu D., Robinson J. (2012^a) *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*. New York: Crown Business.
- Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. (2000) The colonial origins of comparative development: an empirical investigation. *National Bureau of Economic Research Working Papers*. Working Paper No. 7771. (doi: 10.3386/w7771).
- Beckert S. (2014) *Empire of Cotton: A Global History*. New York: Knopf.
- Capoccia G., Keleman D.R. (2007) The study of critical junctures: theory, narrative, and counterfactuals in historical institutionalism. *World Politics*. Vol. 59, iss. 03, pp. 341–369 (doi: 10.1017/S0043887100020852).
- Diamond J. (2010^b) *Kollaps. Pochemu odny obshestva vyzhyvayut, a drugiye umirayut* [Collaps. How Societies Choose to Fail or Succeed]. Moscow: AST–Astrel': Poligraphizdat.
- Diamond J. (2010^a) *Ruzhya, mikroby i stal': Sud'by chelovecheskikh obschestv* [Guns, Germs, and Steel. The Fates of Human Societies]. Moscow: AST MOSKVA: CORPUS.
- Diamond J. (2012) What makes countries rich or poor? *New York Review of Books*, June 7, 2012 issue.
- Landes D. (1998) *Wealth and poverty of nations: why some are so rich and some are so poor*. New York: W. W. Norton and Company.
- Lukan Mark Avreliy (1993) *Farsaliya* [Pharsalia]. Moscow: Ladomyr.
- Sella D. (1994) L'economia. Cozzi G., Prodi P. (eds) *Storia di Venezia. VI. Dal Rinascimento al Barocco*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 651–711.